Лидия ЧАРСКАЯ

Повести и рассказы

Лидия Алексеевна Чарская
Левушка

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=636915
Лидия Чарская. Повести и рассказы:

Аннотация

Было студеное январское утро. В окопах разводили маленькие костры и грелись вокруг них, как могли. Говорили о том, что у «него», в нескольких стах шагах по ту сторону заледеневшей реки, куда лучше; будто в «его» окопах, ровно в горницах, убрано: и ковры, накраденные в фольварках у окрестных помещиков, и чуть ли не пианино, добытое тем же путем. Впрочем, говорила больше молодежь, а старые солдаты усмехались скептически…

Содержание

I	4
II	7
III	11
IV	14
V	22

Лидия Алексеевна Чарская
Левушка

I

Уже который день стояли на Бзуре в холодных окопах. Офицеры и солдаты скучали от бездействия. Бывали правда мелкие дела и частичная ленивая перестрелка. «Он» тоже притих и лишь изредка посылал частичный гостинец в виде тяжелого «чемодана», вырывающего огромные логовища в земле, или баловался пулеметами. А то взрывались розоватые облачка шрапнелей да трещали ружейные залпы. Но больше выжидательно молчали. С наших позиций «его» было хорошо видно, особенно из траншей пехотного полка, где служил Левушка.

Лев Геннадиевич Струйский, балагур каких мало, молодцевато носил свои подпоручичьи погоны и лихо заламывал на затылок мохнатую папаху, сменившую фуражку защитного цвета. Русокудрый, румяный, свежий и жизнерадостный, Левушка пришел на войну, как на праздник, и воспринимал с редкой стойкостью все её жуткие впечатления. Его живые глаза горели воодушевлением, крепкие зубы сверкали в улыбке, да и ямочки на румяных щеках, казалось, сияли тоже, как глаза и зубы.

Левушка был любимцем семьи, солдат и однополчан-товарищей.

– Левушка – наше красное солнышко, – шептала старушка-мать, гладя, бывало, высохшей рукой румяные щеки своего двадцатитрехлетнего любимца-сына.

– Левка – не брат, а прелесть! – кричала хохотушка-сестра Катя, повисая у него на шее, еще там, дома, когда он приезжал к ним гостить в Липки в редкие дни отпуска.

– Славный наш Левушка, – говорила старшая Зоя, уже начинающая блекнуть девушка.

И младший брат Вика, еще кадет, замечал важным ломающимся кадетским басом:

– У Льва счастливая судьба: всеобщий любимец и баловень. А все потому, что молодчинище.

– Что и говорит – бабушка наворожила! А вот я его терпеть не могу. Зачем дразнится зачем изводит?

Это уже говорила сиротка Феничка, дочь бывшего управляющего, которую после смерти её отца приютили в семье Струйских.

Да, Левушка действительно дразнил милую маленькую Феничку с черными глазками, с маленьким, словно обиженным ртом. Сначала, еще в детстве, он отнимал игрушки и деспотически главенствовал в играх, потом, когда подросли, смущал и изводил уже по-иному:

– А ведь Феничка влюблена. Мама, Зоя, Катя, посмотрите! Или вы не замечаете? Видите, как краснеет она каждый

раз, что Картошкин входит в комнату. Фи, Феничка! У вас дурной вкус. Право, дурной! Будете мадам Картошкина. Какой ужас!

Картошкин был худой, длинный управляющий Липок, небольшого именьица Струйских, лежавшего близ Луги, безнадежно и упорно влюбленный в Феничку.

Она искренне злилась на насмешки Левушки и чуть не плакала от досады.

Милая Феничка! Что-то она теперь? Что сестры, Зоя и Катя, и мамочка, проливавшая бесконечные слезы пред отъездом Левушки на войну.

II

Было студеное январское утро. В окопах разводили маленькие костры и грелись вокруг них, как могли. Говорили о том, что у «него», в нескольких стах шагах по ту сторону заледеневшей реки, куда лучше; будто в «его» окопах, ровно в горницах, убрано: и ковры, накраденные в фольварках у окрестных помещиках, и чуть ли не пианино, добытое тем же путем. Впрочем, говорила больше молодежь, а старые солдаты усмехались скептически:

– Ишь, выдумывают тоже!.. Поди-кось, они корни древесные жуют – жрать им нечего, а вы – пьянины. Небось, пьянины-то в голове у тебя, парень!

– Никак нет, дяденька, потому как никаких пьянин в головах таперича иметь не полагается. Все как есть черезвые на подбор, – бойко под общий хохот отшучивался молодой солдатик.

– А ну-ка, братцы, давай-кась я поддразню «ево»! – обратился он к товарищам и прежде нежели подоспевший к группе подпоручик Струйский, мог остановить храбреца. Солдатик пулей вылетел из окопа на низенькую насыпь. Здесь, приложив руки ко рту трубкой, он закричал, сильно напрягая голос:

– Эй, немец-перец, колбаса! Как тебя? Гутен морген! Ступай к нам, коли жив еще, чай пить в окоп.

– В о-о-окоп! – повторило вдоль берега эхо. На неприятельских позициях видимо расслышали, зашевелились. Откуда-то из земли показались сначала головы в касках, а потом и дула винтовок.

– Назад, Семирякин, назад! – скомандовал Левушка.

Но солдат, прежде чем снова спрыгнуть в окоп, низко поклонился в «его» сторону в ответ на потрещавшие выстрелы.

– Ишь, тварь неблагодарная, колбаса протухлая! Его честь честью добрые люди приглашают, а он заместо спасибо ишь тебя чем… Ну, постой же ты! – и, схватив первую попавшуюся винтовку, Семирякин выстрелил.

* * *

– Господа, поздравляю: дождались дела. Нашему батальону выпала честь первому пробраться за темнотой к тем восточным окопам и взять их, во что бы то ни стало, в нынешнюю ночь, – произнес маленький плотный батальонный командир, обращаясь к офицерам своей части.

– Ночь по-видимому будет благоприятная, безлунная… Только бы их проклятые прожекторы не подгадили дело! – и капитан Рагужин, ротное начальство Левушки, обвел большими близорукими глазами небо.

– Господа, я предлагаю желающим отправиться с наступлением темноты в секрет, снять неприятельских часовых и подать сигнал в удобный момент к атаке, – снова проговорил

батальонный.

– Я… разрешите мне! – вырвалось так непосредственно у Левушки, что сам он сконфузился, а окружающие его товарищи невольно рассмеялись.

Молодой офицер не раз уже исполнял поручения начальства и всегда успешно. Глядя в это молодое лицо, как-то верилось в благоволение к нему судьбы, в его счастливую звезду.

– Но позвольте, господа, и другие бы не прочь и я, и Лаврицов, и Никольский, – произнес Черемицын, друг и приятель Левушки, которому не менее Струйского хотелось попасть в опасное ночное предприятие.

– Прекрасно, прекрасно! И вы, вы и Струйский… Ступайте с Богом и сигнализируйте, когда будет все кончено с караулом. А теперь пожалуйте сюда! Вот ваш надлежащий путь по плану, – и, развернув на спине ближайшего к нему солдата карту, батальонный стал водить по ней карандашом.

Левушка и Черемицын следили за движением его зоркими, внимательными глазами.

Потом, когда ушел батальонный, до самого наступления сумерек Левушка писал письмо в окопе на своей походной постели. Когда Черемицын позвал его пить чай с сухими черными походными сухарями, Левушка взглянул на него большими глазами и заговорил тихо чуть слышно:

– Вот, Ваня, если того… если убьют, отвезешь в Липки, с образком вместе, которым мать благословила. И письмо,

и мои трофеи. Кате я обещал немецкую каску. У Тарасова, моего денщика, возьмешь ту, которую я добыл в последнем бою с головы убитого мной офицера. Ты знаешь… Отвезешь все сам в Липки, если меня того… Понимаешь?

Но Черемицын только махнул рукой на эти слова.

– Вздор болтаешь, Левушка! Жить тебе да радоваться, а ты… Глупый ты, глупый, Левка! И меня только зря пред делом расстроил, да и себя не радуешь! – и он дружески хлопнул товарища по плечу.

– Нет, а ты все-таки дай слово, что исполнишь, – настаивал Струйский, и строго было сейчас его обычно веселое лицо.

– Тьфу ты! Да что же ты меня на медленном огне поджаривать хочешь? Ну, да ладно, сделаю, что хочешь, на Марс, на Большую Медведицу, на чертовы рога съезжу, только отвяжись от меня, ради Бога! – вышел из себя окончательно Черемицын, и спохватился через минуту: Но ведь и меня убить могут: и я с тобой в одно «дело» иду. Может быть, меня пораньше тебя пристукнут…

– Не пристукнут! – уверенно сорвалось с губ Левушки, и он уже снова весело улыбнулся. – Не пристукнут, – еще увереннее повторил он и вдруг запел свою любимую арию:

«Тор-реодор смеле-е-е-е в бой!»

– В бо-о-ой! – где-то протяжно и жутко протянуло эхо.

III

Шли в темноте, крадучись, бок к боку, чуть ли не затаив дыхание, нога к ноге. Иногда только зловещий шепот фельдфебеля Курицына третьей роты своеобразно подбодрял неловких, отставших, споткнувшихся или зацепивших штыком за штык соседа.

– Ты это што? – тут шло краткое, но внушительное порицание, нецензурного свойства. – Ты это как же? – и опять следовал нелестный, но тем не менее внушительный отзыв о степени виновности провинившегося.

И снова крались неслышно, бесшумно.

Отойдя несколько десятков шагов от своих окопов, легли на покрытую снегом землю и поползли к реке. Серая группа людей казалась причудливо-фантастической, двигаясь по белой скатерти снежной равнины. Левушка был как всегда впереди бок обок с толстеньким капитаном Книжиным, а мысли его все время кружились вокруг написанного нынче домой письма.

Письмо должно было дойти по назначению в том только случае, если его убьют. И тогда то, что он носил в сердце все эти годы, узнают все домашние. Тайна его души раскроется, как цветок поутру. Если же он останется жив, то по-прежнему то светлое и теплое будет скрыто в сокровенных глубинах его молодого существа, и все останется по-старому.

И, думая это, все полз вместе со своей ротой.

Проползли уже часть поля. Теперь уже были совсем близко неприятельские траншеи. Кое-где мелькали слабые, словно задернутые чем-то, огни.

Как один человек, залегли без движения люди отряда, почти слившись с белой запущенной снегом землей.

Левушка, Черемицын и несколько солдат отделились от них, поползли в темноте уже одни, в сторону от отряда.

Затемнело что-то вблизи. При слабом отблеске прикрытых фонарей уже можно было разглядеть серые фигуры маячивших вдоль насыпи караульных.

Подползли, подобрались к самому валу, вскочили на ноги, и, каждый нацелив себе по одной неприятельской фигуре, стремительно и все так же беззвучно бросились на постовых.

В тот же миг свет неприятельского прожектора охватил все ближнее и далекое, всю местность; и пронзительный крик филина нарушил одновременно с ним сонную тишину ночи. То Левушка сигнализировал начало атаки отряду, ожидавшему его сигнала.

Неприятельские окопы ожили. Тяжело ухнула пушка, за ней другая, третья. Жутко заговорили батареи, затрещал пулемет. Визжа, звеня и жужжа полетели пули. Треск ружейных залпов слился с громом тяжелых орудий и потонул, растаял в нем.

Со стороны реки бежал отряд нашей пехоты. Победоносно и грозно звучало «ура». Стрелки спешили по крику фи-

лина брать неприятельские траншеи.

– Сдавайтесь! – резко крикнул немецкий пехотный офицер, направляя в грудь Левушки конец сабли.

Струйский, окруженный неприятельскими солдатами, отчаянно рубился на валу траншеи. Он вбежал сюда с саблей наголо в одной и револьвером в другой руке, вбежал первым в неприятельские окопы. Другие охотники кончали в это время свое дело с караулом поста.

– Сдавайтесь! Вы – пленный, – прозвучал у уха Левушки другой голос, и тонкое лезвие сабли зловеще блеснуло пред его лицом.

В ответ Левушка поднял руку с револьвером и выстрелил в офицера.

– Русские добровольно в плен не сдаются, – хрипло выкрикнул он и упал в тот же миг, пронизанный штыком немецкого солдата.

IV

Красиво убрала зима в этом году природу. Завороженными принцессами заколдованного царства стоят под снежной фатой, деревья в лесу, а в Липках, сплошь заросших старым лиственным лесом, и совсем красиво.

– Точь-в-точь как на открытках, – говорит Феничка, прищуренными, как у ласковой кошечки, глазами, оглядывая белые деревья, белые сугробы, белую природу.

Лучшее и более удобное сравнение она и подыскать не может.

А вечером окружающий старый деревянный дом усадьбы, сад – настоящая феерия. Луна медленно выплывает из-за облака, царственно прекрасная в своем голубоватом ореоле, томно обливает своей лаской сад и словно тихо радуется чему-то. Пленительной сказкой из другого – лучшего мира кажутся белые, все словно в лебяжьем пуху, деревья. Вот-вот, чудится, из фантастического замка садовой чащи выглянет сказочная снегурка и запляшет среди сугробов.

Феничке хочется почему-то плакать в такие лунные зимние ночи или говорить о бесконечно длинной и прекрасной любви, которая бывает разве только в сказках или где-то далеко от этих Липок, где она ведет домашнее хозяйство в усадьбе Струйских, где за ней нелепо и наивно ухаживает Валерьян Картошкин, – управляющий-конторщик из гимна-

зистов, несколько лет тому назад прогнанный за нерадение в науках, но его любовь смешна и трогательна, и Феничка почти уже дала ему слово стать его женой. Все-таки он – управляющий, получает семьдесят рублей в месяц при готовой квартире и столе. Как-никак, а это – для неё, бедной сироты-невесты, завидная партия.

Недаром напророчил ей Левушка…

Левушка!..

При одном этом имени в сердце вспыхивает что-то горячее и красивое.

Левушка, дразнящий, насмешливый, веселый… «Мадам Картошкина» и ария тореадора… Все его речи, все до единой запомнила Феничка. И сердил он ее, и мучил, а все же мечтала о нем она длинными волшебными ночами, орошая слезами горячую подушку.

«Левушка»… О нем дерзала она мечтать, о нем, созданном для какой-нибудь принцессы.

* * *

Тепло и уютно в столовой. Чай уже отпили. Феничка беленькими нежными ручками перетирает чашки, старушка Струйская раскладывает пасьянс, заученный ею еще в дни молодости и называющийся так волнующе-странно – поцелуем. Катя, запустив в кудрявые короткие волосы обе руки, жадно читает книгу. В восемнадцать лет она – еще совсем

ребенок и похожа на Левушку, как две капли воды. Хорошенькое личико Фенички то и дело обращается в сторону младшей Струйской. Когда нет брата, поневоле остается любоваться его «образом и подобием» – младшей сестрой. И тихая грусть разлуки волнует сердце Фенички.

Хоть бы на час, хоть бы на миг повидать его! Пусть дразнит, пусть смеется, пусть шутит – она не обидится, не рассердится теперь, нет… На него сердиться? На Левушку? А ведь осмеливалась раньше – на королевича своего – она, тупое ничтожество, замарашка! Теперь, кого он полюбит, того и она любить будет: Невесту даже Левушкину, его жену. И не будет в ней ревности ни капли. Принц и Замарашка. Разве она осмелилась бы мечтать о себе рядом, об руку с ним? Завтра базар в Луге. Она поедет туда за провизией с Картошкиным. Опять он заговорит о свадьбе. Надо кончить этот вопрос поскорей, надо убить бесполезные грезы. Картошкин хороший, добрый и любить ее будет вечно. Свой человек, ей по плечу, не принц, не сказочный королевич, не Левушка.

Из соседней комнаты тихо плывут нежные, рыдающие аккорды. Играет Зоя. Сама, такая нежная, бледная, увядающая. Бывшая институтка. Бывшая мечтательница. Теперь уже не грезит, как прежде, под тридцать лет. Молча и покорно уступает дорогу другим, в лице Кати – юной сестры – счастливой молодости. А душа не хочет стариться. И мечта тоже. И надрывно рыдают обе в певучих аккордах Шопена.

– Кажется, звонят?

Письмо от Левушки? Может быть, телеграмма?

– Может быть, он сам? На Бзуре сейчас затишье. Очень возможно, что его и отпустили?

Катя вскакивает первая. Книга летит под стол. Туда же следует и выскользнувшее из рук Фенички чайное блюдце.

Старушка Струйская роняет карты и мертвенно бледнеет её морщинистое лицо. И звуки Шопена сразу смолкают в зале. Уже стремительно пронеслась, как буря, в прихожую Катя.

– Левушка! – призывно и радостно доносится из сеней её взволнованный крик.

И она втаскивает в гостиную кого-то, запушенного снегом, закутанного в башлык и полушубок. Из-под башлыка белеет на лбу повязка, наложенная через всю голову, и правая рука на привязи, в то время как левая подает конверт.

Незнакомые усталые глаза глядят смущенно, точно моля о прощении, а голос, тоже словно извиняющийся, говорит, срываясь на каждом слове:

– Виноват… вы обознались. Это не Левушка, не подпоручик Струйский. Но я от него. Письмо и посылка – немецкая каска для младшей сестрицы… Екатерины Геннадиевны… И другие вещи его…

– А он сам где же? Здоров? Не ранен? – слышится пытливый, мучительно волнующий вопрос.

Офицер молчит.

– Но вы сами ранены, кажется? Вы устали? Сядьте! – и

Зоя, первая придя в себя от обманутого ожидания, подвигает гостю кресло.

– Сядьте пожалуйста, – вторит ей дрожащий старческий голос.

У раненого, измученного дорогой Черемицына не хватает духа занести молот для удара над этой седой головой, нет сил открыть обступившим его трем девушкам жуткую истину о гибели Левушки. Как он скажет им это сейчас? Как скажет о том, что его уже нет больше на свете, их дорогого Левушки, что покоится его тело у берега Бзуры, в общей братской могиле. Он сам, несмотря на рану, прежде чем ехать к себе домой, помчался сюда, дав крюк в сторону, чтобы опередить газетные известия. Очевидно он не опоздал, очевидно тут еще ничего не знают. Господи, будь милосерден к ним!

– Письмо от Левушки, говорит он и решительно протягивает конверт.

Дрожащие руки схватывают его.

– Очки… мои очки, Зоюшка! – слышится взволнованный шепот.

О госте, забыли как будто. Почти бегом бегут в столовую, окружают стол и маленькую старушку с белым конвертиком в трепетных пальцах.

– Дайте мне я прочту, мама, – решительно говорит Катя и энергично берет из рук матери письмо.

* * *

«Милые мои, родные мои. Любимая моя мамочка, Зоя и Катя. Я был скверным сыном и дурным братом. Я мало до сих пор заботился о вас, – писал своим характерным почерком Левушка, – но это не мешало мне искренне нежно любить вас. Я всегда чувствовал вашу горькую, полную забот жизнь, родная мамуся, только не умел выразить этого вам. Я всегда казался легкомысленным, веселым, чересчур жизнерадостным, а между тем и неурядицы в наших материальных делах и невозможность привести их в порядок всегда волновали меня. Сильно мучили и то, что молодость милой нашей Зои проходит в глуши, без радостей, без цветов жизни, и страх за Катюшу: неужели и ей грозит то же? Я был всегда бессилен помочь этому, и это мучило и терзало меня. Особенно теперь, с начала компании, я много передумал о вас на передовых позициях. Близкая опасность смерти облагораживает, возвышает душу; глубже чувствуешь то, на что прежде не обратил бы особенного внимания. И вот теперь, под неприятельскими пулями и шрапнелью, на шаг от смерти хочется сказать вам еще раз, что люблю вас всех бесконечно, горячо, как самое дорогое в мире после Царя и родины. И еще скажу о том, о чем говорить до сих пор не доводилось. Люблю Феничку и всегда любил. Сначала только по-детски, потом иначе,

как милую далекую невесту, как… Но довольно об этом – все равно поздно, а, что надо понять дорогим, близким, поймут с двух слов. Прощайте, родные!.. Всегда, всегда, что бы ни случилось, буду всей душой с вами.

Благословите, родная мама, вашего Левушку, как и он благословил вас всех.

Л. С».

– Что это? – и Катя с остановившимися глазами и совсем белым лицом взглянула на мать. – Мамочка! – протянула она по-детски жалобно и всхлипнула, как ребенок.

Но старуха-мать все еще не понимала, не догадывалась о страшной истине. Было похоже, как будто она удивлялась письму и радовалась волнующей материнской радостью: и тому, что так разоткровенничался Левушка, и тому, что любит Феничку, а так долго скрывал от неё, любит ту, к которой сама она привязалась, как к родной дочке. И не замечает старушка за этой радостью смертельной тревоги в глазах трех девушек, окружающих ее.

Тогда Зоя незаметно выскользнула из столовой. В гостиной, понурясь в кресле, чуть живой от усталости, сидел раненый офицер.

– Что с Левушкой? Где наш Левушка? – бросилась к нему Зоя, чуть двигая побелевшими губами.

Усталые глаза вскинулись на нее. Слабо дрогнули губы, и до ушей девушки долетело одно только слово, зловещее слово:

– Убит.

V

А наутро Феничка с измятым от слез и бессонной ночи лицом ехала вместе с Картошкиным в лужскую церковь заказывать обедню за упокой души Левушки.

Новый мир остался теперь за спиной девушки: то, что пережила, перенесла она в один миг, жгучую радость сознания разделенной любви и горе, тотчас же вслед за этим сокрушившее, перевернувшее все её существо.

Левушка любил ее давно, как невесту любил и умер… и умер. Убили его… убили, её героя, её королевича, её Левушку. И от сознания того, что было возможно и близко навеки исчезнувшее счастье, еще ужаснее казалось горе.

Нынче поутру пришли газеты и принесли роковое известие. В списке убитых находилась фамилия Левушки и она же была повторена в списке награжденных посмертным Георгиевским крестом. Там же было и описание подвига этого героя, отдавшего жизнь за родину.

И после этого жить прежней жизнью, ждать свадьбы с Картошкиным? Принимать его поцелуи после того, как Левушки уже нет, после того как она знает о любви его к ней, его – героя? Нет, тысячу раз нет!

Бледно и значительно было лицо девушки, когда она после долгого молчания обратилась к своему спутнику, правившему лошадью:

– Вы меня простите, Валерьян Петрович, а женой вашей я не буду никогда, – произнесла она тихо, тихо, и как раненый на смерть грозой цветок, поникла головкой.